

Город как целостность – город как подпространства:

Петербург в восприятии мигрантов

Анисья Хохлова

аспирант I курса факультета социологии СПбГУ

Социология города существует и, более того, успешно развивается с тех самых пор, когда социология вообще оформилась как наука, и уже на заре формирования urban studies был сформулирован ключевой для нового поля исследований вопрос – вопрос о специфичности городского социального пространства. Большинство классиков социологии города отвечают на этот вопрос положительно, в своей аргументации опираясь на дихотомию большого города – деревни. Исследователи, использующие названную жесткую оппозицию, вслед за представителями второй Чикагской школы, рассматривают крупный город и другие типы поселений как две жестко противопоставленные друг другу культуры, коренным образом отличные друг от друга. При этом к числу характерных черт городской социальной среды, как правило, относят гетерогенность населения, высокую степень социальной дифференциации и социальной мобильности, значимость вторичных, формальных контактов [7, S. 4-5], а при сравнении часто используют оппозиции «типовая культура – культура индивидуализма», «традиция – рациональность», «доверие – отстраненность» и пр.

Впоследствии были зафиксированы динамичные тенденции распространения «городского образа жизни» в небольших городах и деревнях и его превращения в универсальный повседневный опыт [6, p. 169]. В попытке объяснить растущее сходство городского и сельского образа жизни ряд исследователей (например, Taylor и Jones [9]), отказываясь от модели Чикагской школы, выдвигает гипотезу, согласно которой существует некий общий, универсальный образец социальной организации (common pattern of social organization), на который различные социальные группы реагируют вариативно в зависимости от специфических характеристик. Одним из вариантов преобразования общего паттерна становится «урбанизированная социальная организация» (urbanized social organization), границы распространения которой отнюдь не обязательно совпадают с географическими границами городских поселений. Однако многие социологи не отказываются от гипотезы о специфичности городского социального пространства, апеллируя к особой идентичности горожан. Так, Дитер фон Мервельдт утверждает, что, участвуя в процессе коммуникации в публичном пространстве и следуя общепринятым в нем способам поведения, горожанин приобретает особое самосознание, фиксируемое в «стиле коммуникации», предполагающем взаимное отчуждение и нормативно закреплённую дистанцию акторов, а также рутинизированное знание о многообразии городских ролей [8].

Задавшись, в свою очередь, вопросом о специфике социального пространства Петербурга, мы обратились к опыту внутренних мигрантов, то есть людей, не располагающих тем рутинизированным знанием о городе, которое столь убедительно описывает фон Мервельдт. Поскольку акцент в исследовании смещался в сторону индивидуального жизненного опыта индивидов, их субъективных переживаний и впечатлений, предпочтение было отдано качественным методам. Эмпирическую базу работы составили нарративные интервью, проведенные в 2002-2004 годах с мигрантами из разных областей России в Петербурге. Поскольку в нашем исследовании мы стремились отразить динамику процессов освоения городского пространства, информанты подбирались так, чтобы их можно было условно разделить на две группы: люди с

небольшим стажем жизни в городе, составляющим не более пяти лет, и те, чей стаж проживания насчитывает более пятнадцати лет.

Ставя перед собой задачу изучить способы освоения и репрезентации мигрантами пространства Санкт-Петербурга, мы, в первую очередь, стремились выяснить, что именно является значимым для мигрантов в городе, какие особенности определяют логику их субъективной организации петербургского культурного пространства и развивающихся в рамках этого пространства коммуникаций.

Наши полевые материалы свидетельствуют о наличии определенного соответствия между развитием географических маршрутов, формированием социальных сетей (Vernetzung) и включением мигранта в общий культурный контекст Петербурга. Освоение городских локусов сопровождается освоением неразрывно связанных с ними практик. Если до миграционного события наши информанты нередко располагали простым, нерасчлененным, но эмоционально насыщенным и в большинстве случаев идеализированным представлением о городе: *«Да, до того, как сюда приехать, я часто представляла Ленинград, по книжкам, по фильмам, такую сказку двадцатого века»* [I], – то с течением времени после переезда картина города становится все более дифференцированной и эмоционально неоднозначной. При этом в описаниях наших информантов находит отражение *амбивалентность* восприятия городского культурного пространства.

С одной стороны, Петербург воспринимается как единое целое, некая нерасчлененная среда: *«Питер – это океан»* [II]. Город также может интерпретироваться как специфическая атмосфера: *«В Питере свой дух, ни на что не похожий»* [III]. Наконец, он может представляться даже как живое существо, которому приписываются особый характер, привычки, предпочтения и способность к активным действиям. Едва ли не в каждом интервью мы встречались с примерами подобной персонификации. Город, как символически единое, часто антропоморфное существо, может *принять* или *не принять*, *полюбить* или *отнестись равнодушно*, может *играть* с человеком или *выжить* его из себя, может даже *испытать* или *спасти*. В любом случае он принимает самое активное участие в жизни мигранта, действуя согласно своим скрытым мотивам: *«Я давно заметила: город либо принимает, либо не принимает. Не знаю, как это происходит, на чем основывается его выбор»* [IV]. Петербург как целое выступает не пассивным объектом освоения, а полноправным и даже чрезвычайно активным субъектом коммуникации: *«Если говорить вообще о любви к Питеру, то я могу сказать, что у меня любовь это безответная. То есть я это осознала, очень часто я это осознаю. Что вот... и сейчас она просто такая неистовая просто вот, и меня вот трясло просто. Я могла даже зимой, я помню, что я приехала домой, я открыла – у нас есть книжки по Петербургу, ну, Ленинграду, еще старые, с красивыми фотографиями. Вот я открыла, я просто сидела, я рыдала над этими фотографиями, потому что действительно настолько вот я чувствовала, что меня туда тянет, я не могу, я понимала, что я сюда приеду и все, вот это опять меня поглотит. И вот ты, вроде, отдаешься, и понимаешь, что город, он равнодушен к этому. То есть не то что он меня не любит, но ему все равно. То есть такое равнодушие, ну так как бы естественно, это же. То есть не то чтобы он меня не принимает, но он принимает, ты приезжаешь – он принимает, ты здесь как бы действуешь, ты здесь устраиваешься и нормально. А уедешь, так и ...»* [V]

Петербург также может быть *добрым* и *жестоким*, *задумчивым*, *вежливым* и *консервативным*, он даже способен испытывать *чувство собственной неполноценности* [III]. Часто отношения между человеком и городом характеризуются как реципрокальные: так, непроблематичное включение или удачная карьера в городской среде «обмениваются» на формирование петербургской идентичности и любовь к городу: *«Ну, понимаешь, я же тебе говорю: у меня с этим городом особые отношения сразу сложились, поэтому я уже не задумывался. В принципе я, может быть, к нему еще и не объективен, потому*

что мне он понравился, я искал, где будет мой дом, понимаешь? Я когда приехал поступать, у меня, во-первых, в личной жизни были проблемы, во-вторых, у меня вообще стимулов никаких не было: зачем дальше жить, что делать, а тут я приехал и, как бы, жизнь наладилась. Поэтому этот город спас меня в каком-то отношении. Поэтому я могу быть к нему и не объективен» [III].

С другой стороны, информанты склонны подчеркивать внутреннюю сложность, разнообразность и противоречивость городской среды: *«В Питере...здесь столько всего намешано! Разные люди, разные места, я бы даже сказал, разные языки, в том смысле, что сытый голодного не разумеет, новый русский – нищего интеллигента, а какой-нибудь задумчивый панк – наци» [VI].* В интервью фиксируется разведение городских «мест» и связанных с ними сфер коммуникации, где человек чувствует и ведет себя различным образом. Мы описываем эти «локализуемые в пространстве поля коммуникации» как символически отграниченные фрагменты, или подпространства, городского культурного пространства. Эти подпространства фактически представляют собой гофмановские «зоны исполнения», то есть «места, в которых восприятие исполнения так или иначе ограничено» [1, с. 142].

Первое и основополагающее деление касается «своих» и «чужих» (или «ничьих») мест, «зон заднего и переднего плана», по Гофману. Для мигрантов *«закулисье» собственных квартир и дружеских компаний* обладает особой важностью, поскольку обеспечивает возможность наконец-то почувствовать себя дома, расслабиться, не думать, быть самим собой. В интервью в качестве отличительной черты городской жизни отмечается выраженная отграниченность, закрытость и недоступность петербургских квартир, связанная с уважением к сфере приватного: *«Люди не пускают к себе домой, как не пускают к себе в душу. У каждого есть своя норка, куда другим лезть не положено, даже соседям» [VII].* Другой информант удивляется, что в городе не принято слишком часто приглашать друзей в гости. Скорее будет предложено *«встретиться «на нейтральной территории» в центре: в каком-нибудь там кафе, просто на улице» [III].*

В качестве противоположности дому выступает *городская улица*, причем в крайнем ее проявлении – оживленная и многолюдная. Это пример самой разнообразной, мультифункциональной и неструктурированной публичности. Здесь описанная классиками урбансоциологии анонимность действует с особой остротой, заставляя многих информантов из небольших поселений считать Петербург *холодным и неудобным*: *«Я хорошо помню странное и несколько дискомфортное ощущение: люди вокруг меня, где бы это ни происходило, в транспорте ли, в переходе ли, и особенно на улице, в толпе... Они как бы смотрели мимо меня, даже когда, вроде бы, разговаривали со мной. Как-то сразу становилось понятно: им все равно, да и городу вообще все равно» [VIII].* Любопытно, что улица часто описывается как *«море машин», «людовой океан», «поток людей», «лес домов», «большой муравейник»,* то есть сравнивается с местами, принадлежащими природе, а не культуре, где человек может остаться один. В свете отчуждения уличной коммуникации, агенты этого городского подпространства вполне удачно описываются формулой *«горожанин – это незнакомец, прохожий»,* хотя, как выясняется, балансируя между безличностью и близостью, все они все же связаны взаимными ожиданиями. Эти ожидания латентно регулируют поведение горожан и фиксируются в нормах, которые, очевидно, принадлежат слою гофмановских «приличий», поскольку «относятся к соблюдению исполнителем определенных ограничений в поведении, когда он находится в зоне видимости или слышимости, доступной для аудитории, но необязательно говорит с ней» [1, с. 143]. Специфика исполнения в данном случае состоит в том, что публика, с которой человек сталкивается лицом к лицу, открыта, текуча, неструктурирована, аморфна и гетерогенна, как и само пространство, и не характеризуется территориальной закрепленностью, а предъявляемые индивиду предписания четко не артикулируются. Поверхностность уличной коммуникации,

отсутствие в ней «далеко идущих последствий», на наш взгляд, удачно описана одним из наших информантов метафорой «замороженности» [III].

Одним из ведущих моральных требований приличий является норма невмешательства: *«Мы быстро шли, прямо-таки неслись по улице, а подруга твердила, как заповедь: «Не глазей, не лезь, не вмешивайся!»* [VII] Дистанция, играя роль фильтра, способствует разрешению проблемы информационной перегрузки и позволяет решать повседневные проблемы, избегая при этом сильной эмоциональной вовлеченности. Как только кто-либо нарушает границу дозволенного в публичном пространстве и выходит за рамки отстраненности, его мягко выталкивают обратно в анонимность, хотя в пространстве частных контактов индивид по желанию может выстраивать связи любой степени близости. Умение поддерживать дистанцию воспринимается как ключевое для городской жизни: *«Через некоторое время я научилась спокойно отметить все поползновения со стороны окружающих... На всякий случай»* [II]. Есть темы, которые не нарушают безличность уличной городской коммуникации. Так, прохожего можно спросить о времени, о том, как найти дорогу, попросить дать прикурить. Но, как показывает еще Бардт [4, S. 66], «не городских» узнают по тому, что, задав позволенный вопрос, они начинают рассказывать о себе и объяснять, почему не ориентируются в этом районе. Несколько сходных ситуаций встретилось и в наших интервью: *«Запомни, – поучала меня бабушка, – и перестань вести себя как провинциалка. Ни в коем случае не рассказывай о себе каждому встречному-поперечному. Просто вежливость»* [VIII]. В ситуации непосредственной коммуникации люди в публичном городском пространстве заинтересованы в получении информации, а не в людях, от которых они эту информацию получают, а потому, по точному выражению фон Мервельдта «говорят *насчет* друг друга, в реальности даже часто *мимо* друг друга, а не *друг с другом*» (курсив автора) [8, S. 307].

Таким образом, неструктурированность социального пространства улицы и поверхностный характер протекающих там коммуникаций не означают, что эти коммуникации осуществляются произвольно или не интенсивно. Здесь существуют возможности для опосредованной коммуникации, принимающей форму обмена символами при сохранении анонимности. К числу таких сигналов относятся статусные атрибуты: одежда, машина и т.д., а также способы поведения: *«Ты неверишь, но для меня настоящей школой жизни стали вечерние прогулки по Невскому, Суворовскому, набережным. Набережные я, кстати, до сих пор очень люблю. Я по этим прогулкам узнала больше о городе, чем из всех книжек, фильмов и разговоров вместе взятых. Я смотрела на прохожих и пыталась по одежде, по манерам о них что-то узнать, запоминала красивые платья. Сначала мне все казалось такими важными и как будто полными какого-то скрытого знания. Потом я могла уже безошибочно отличить иностранца, богатого и уверенного в себе мужчину»* [IX]. Так обычная прогулка, не предполагающая никаких знакомств, превращается в коммуникативный опыт, в котором мигрант приобретает информацию о попадающихся ему навстречу прохожих.

Еще одно городское подпространство, где для нормального функционирования, то есть рационального и спокойного передвижения и бесконфликтного решения возможных проблем, как правило, достаточно даже поверхностного сбора данных, не требующего личных контактов, это *общественный транспорт*. Особенно часто в интервью фигурирует метро; линии метрополитена формируют и структурируют значительную часть собранных нами когнитивных карт. Метро становится инструментом освоения Петербурга: это главный ориентир во время первых экспедиций по городу, место, где можно основательно заблудиться, и реальное воплощение пугающе длительных поездок. Неудивительно поэтому, что оно становится предметом столь интенсивной нарративизации. Метро также играет роль сцены, на которой, как и на улице, разворачивается опосредованная коммуникация, обмен символами: *«Чтобы не скучно было ехать, у меня есть несложная игра: на эскалаторе смотреть на проезжающих навстречу пассажиров. Или в поезде наблюдать за сидящими напротив. Не одна я,*

конечно, так развлекаюсь» [II]. Однако излишне усердное участие в этих коммуникациях может быть воспринято как нарушение нормы невмешательства: *«Некоторые, конечно, нервничают, если замечают, что на них смотрят. Однажды на меня накричала какая-то бабулька, решила, что я над ней издеваюсь. В другой раз было хуже: како-то парень решил, что я к нему клеюсь, и очень, понимаешь ли, этому факту обрадовался. Я потом полчаса от него не могла отвязаться»* [II].

В неструктурированном публичном пространстве нередко случаи «приватного поведения» (например, возлюбленные в метро). Иногда такое поведение воспринимается как девиация и вызывает возмущение со стороны окружающих, хотя, разумеется, реакции в каждой из наблюдаемых информантами ситуаций носят спонтанный и ситуативный характер. Можно даже проследить определенную динамику восприятия ситуаций конструирования приватного пространства внутри городской публичности: все говорит о том, что за последние 15-20 лет они все чаще интерпретируются как вариант нормы или, по крайней мере, сопровождаются более мягкими негативными санкциями. Любопытна в этой связи история информантки с более чем двадцатилетним стажем городской жизни: *«Когда я еще училась в институте, к нам по обмену приехали американцы. А было очень жарко. Мы долго пытались объяснить, что по Невскому проспекту не принято ходить в шортах, что их неправильно поймут. Они нас не послушались, и я до сих пор помню, как люди смотрели на нашу группу. В итоге к нам подошел милиционер и объяснил, что так по центру Ленинграда не ходят. А теперь...что в шортах, что без»* [IV].

Где-то на стыке приватного пространства домов и безличности улицы лежит еще одно городское подпространство – «полупубличное», к которому относятся *дворы домов, внутренние переулки, парадные, лестницы, лифты*. Здесь анонимность может вытесняться другими формами коммуникации, при сохранении значительной дистанции между агентами коммуникации и их частичной интеграции. Примером может послужить «церемониальное» поведение в отношениях соседства, когда контакты между живущими неподалеку людьми ограничиваются формами приветствия и общими вопросами: *«Отношения с соседями – вот это было странно. Вот каждый день ты их видишь. Каждый день вежливо здороваешься, придерживаешь дверь, иногда мило беседуешь о погоде. И ничего о них не знаешь абсолютно! Привычно было, что соседи дома – это почти семья»* [I]. Так фиксируется несоответствие между близостью в физическом пространстве и значительной дистанцией в пространстве социальном. Сюда же можно отнести описанный С. Милграмом феномен «знакомого незнакомца» [3, с. 75-77], то есть наличия у каждого горожанина знакомых в лицо людей, с которыми он часто сталкивается, но никак не взаимодействует, воспринимая их скорее как «элемент декорации». Для наших информантов из небольших поселений существование таких людей воспринималось как непривычное и ненормальное и даже подталкивало их к тому, чтобы попытаться нарушить «завесу молчания»: *«Каждый день на остановке я вижу одних и тех же людей и уже знаю всю их одежду. При этом все стоят и смотрят в землю или на дорогу, а не друг на друга. С одним мужиком я постоянно сталкиваюсь, когда на эту остановку иду. Однажды я с ним поздоровался. Он страшно удивился, внимательно на меня посмотрел и прошел мимо. Тут мне стало смешно, и я на следующий день уже из принципа с ним поздоровался. Он поднял бровь, но ответил. Теперь мы здороваемся каждый день. Это уже такой утренний ритуал у нас»* [VI]. Для тех, кто приехал из достаточно больших городов, как, например, наша информантка из Саратова, необычным и некомфортным, напротив, кажется отсутствие таких фоновых лиц: *«Вот знакомых лиц на улице мне очень не хватало. С которыми не общаешься, но которых узнаешь в толпе. Дома таких, конечно, было много»* [IV].

В отличие от описанных выше подпространств, пространство *театров и музеев* является значительно более четко структурированным, как по цели пребывания в нем, так и по организации специфических для него практик и публик. Нам представляется, что

примером такого структурированного публичного пространства в принципе может служить любой досуговый центр, где развивается внешне свободная коммуникация индивидов и групп: концертный зал, кинотеатр, стадион, кафе, ресторан и пр. В этой зоне некоторые «требования приличий» не только поддаются рефлексии, но и вербализируются. Более того, случается, что знание этих правил и непроблематичное следование им составляет элемент так называемой «петербургской идентичности» или, по крайней мере, идентичности отдельных социальных групп города: *«Я еще застала то время, когда поход в театр или филармонию означал праздник, нечто необыкновенное. Бабушка одного нашего однокурсника, из дворян, всегда надевала в филармонию какое-то необыкновенное платье с перьями и разговаривала со своими подругами исключительно по-французски, ну, сразу становилось видно, что элита. Она же учила нас, как себя правильно вести: ни в коем случае не шуметь, никому не мешать, говорить только на «культурные» темы, что еще... А, никогда не аплодировать между частями произведения. Она говорила, это должен знать каждый петербуржец, а про всяких, кто «не соответствовал», говорила с жутким презрением: «деревня» [X].*

Роли, требования об исполнении которых предъявляются публикой каждому человеку, включающемуся в это пространство, как участнику интерпретации могут успешно осваиваться, репетироваться и представляться в повседневной жизни. При этом нормы, регулирующие коммуникацию в театре, все равно являются не слишком жесткими, не предполагают ярко выраженных негативных санкций и могут быть определены скорее не как строгие общезначимые правила поведения, а как «укоренившиеся привычки коммуникации: спора или компромисса» [5, р. 308]. Дело в том, что центральной и «программной» задачей, структурирующей практики в театре или музее, является приобретение опыта эстетического переживания или нового знания, и негативные санкции практически во всех случаях не могут препятствовать ее реализации, неважно, идет ли речь о замечании или исключении индивида публикой из неформальной коммуникации (как в том случае, когда окружающие недоуменно пожимают плечами, если у зрителя на спектакле звонит телефон). Сложнее обстоит дело, когда эстетическое переживание, отдых и пр. являются лишь формальной целью, в то время как гораздо большей значимостью обладает самопрезентация или знакомство. В этом случае негативная санкция будет принимать вид «лишения возможности»: *«Да-а, вспоминаю себя теперь и ужасаюсь. Так тупо вел себя в клубе, что неудивительно, что все от меня шарахались. Хотя тогда мне казалось, что все идет как надо» [XI].*

Контролирующий потенциал зоны культурного, в узком смысле термина, пространства Петербурга также имеет тенденцию к уменьшению, по крайней мере, в восприятии наших информантов. Характерен в этой связи следующий случай: *«У нас с мужем был друг, который давно эмигрировал в Америку. И вот он приехал в гости к нам со своим сыном и привез с собой – можешь себе представить – смокинг. Говорит, будем по театрам ходить. Он, конечно, всегда много выпендривался, «копейку» в шоферских кожаных перчатках водил. И все же это о чем-то говорит. Как будто он приехал в прошлый город, в прошлое, а его уже нет» [IV].* Другая информантка, которая тоже долгое время живет в Петербурге, рассказывает: *«Подруга приехала из Израиля и пошла в Мариинку. Возвращается и говорит: «Первые ряды не те» [XX].*

Культурное пространство Петербурга символически конструируется как неоднородное не только в зависимости от связанных с теми или иными локусами норм и практик, но и в зависимости от более или менее интенсивной символической связи между этими отдельными локусами и городом как целым. В своей статье «Петербург – предмет и поле: новая публичность и новые места» С.В. Дамберг и Н.В. Соколов констатируют трансформацию спальных районов Петербурга в субцентры и уменьшение асимметрии между центром города как монополистом публичности и пассивной периферией [2, с. 52-55]. Тем не менее следует признать, что Петербург до сих пор ассоциируется

преимущественно с историческим центром: *«Лицо города – это не спальные районы, а центр»* [III]. Центр Петербурга выполняет функцию ориентира как для горожан, так и для приезжих и, соответственно, чаще всего маркируется как значимое пространство: *«Окраины не охвачены совершенно, если выехать куда-нибудь в Купчино, на Удельную, в Озерки, в Рыбацкое, там же тоже еще город, но воспринимается город просто как центр. Такое очень ограниченное восприятие в смысле пространства»* [III]. Непосредственно после миграционного события большинство ожиданий и ассоциаций связано с центром: *«Меня манили картины старых строгих улиц и мудрых площадей»* (из дневника XII). Впоследствии же именно здесь зарождается идентификация с городским образом жизни: *«Только здесь, среди прогуливающих людей на Невском, я чувствую, что значит быть петербуржцем»* [XI].

Центр субъективно репрезентирует город в целом не только потому, что в нем сконцентрировано большинство значимых символов Петербурга (среди которых наиболее часто упоминаются Адмиралтейство, Петропавловская крепость и Исаакий), но и потому, что он представляет собой сгусток основных свойств городской среды и, в первую очередь, ее разнообразия. В континууме high urban areas – low urban areas – центр интерпретируется как «самое городское» пространство, то есть то, где специфические характеристики городской коммуникации выражены наиболее явно, в то время как городские окраины образно описываются как *«петербургская провинция»* [III]. Интересно, что шкала «более или менее городских» культурных подпространств лишь частично совпадает со шкалой «более или менее петербургских» пространств, где центр по-прежнему составляет один из полюсов, а вот некоторые индустриальные районы, которые по психофизиологическим признакам описываются как *«типично городские»*, скорее тяготеют к противоположному полюсу: *«Эти шумные дороги, знаешь, в районе Пионерской или Лесной. От них так и веет городской суетой. Но с Питером они у меня совершенно не ассоциируются»* [IV].

Таким образом, освоение Петербурга как нового культурного пространства осуществляется мигрантами в двух символических измерениях. С одной стороны, город воспринимается как нерасчлененное единое целое и нередко выступает активным персонифицированным участником коммуникации, в которую включены мигранты, но с другой – отмечается внутренняя сложность и гетерогенность городского культурного пространства, в котором выделяется комплекс символически отграниченных подпространств.

Литература:

1. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
2. Дамберг С. В., Соколов Н.В. Петербург – предмет и поле: новая публичность и новые места. // Санкт-Петербург в зеркале социологии. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2003.
3. Милграм С. Знакомый незнакомец (к вопросу о городской анонимности). // Эксперимент в социальной психологии. СПб: Питер, 2001.
4. Bahrtdt, Hans Paul (1969): Die moderne Grossstadt. C. Werner, Hamburg.
5. Ericksen, Gordon Ephraim (1954): Urban Behavior. Macmillan, NY.
6. Germani, Gino (1964): Migration and Acculturation, in: Philip M. Hauser (ed.): Handbook for Social Research in Urban Areas. UNESCO, Ghent.
7. Koetter, Herbert und Hans-Joachim Krekeler (1977): Zur Soziologie der Stadt-Land-Beziehungen, in: Herbert Koetter, Rene Koenig und Alphons Silbermann: Grossstadt. Massenkommunikation. Stadt-Land-Beziehungen: Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 10. Ferdinand Enke, Stuttgart.
8. Merveldt, Dieter, Graf von (1971): Grossstaedtdische Kommunikationsmuster. Soziologische Darstellung von Kommunikationsmustern zur Kennzeichnung des Grossstaedters in seiner Umwelt. J.P. Bachem Verlag, Koeln.
9. Taylor, Lee and Arthur R. Jones (1964): Rural Life and Urbanized Society. Oxford University Press, NY.
- I. Здесь и далее курсивом приводятся отрывки из интервью, хранящихся в личном архиве автора, а также в архиве кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета

социологии СПбГУ. Информантом в интервью один выступала женщина, 58 лет, которая приехала в Петербург из Новосибирска. Стаж городской жизни составляет у нее 28 лет.

- II. Ж., 20 лет, Псков, стаж городской жизни 3 года.
- III. М., 21 год, Ростов-на-Дону, стаж городской жизни 4 года.
- IV. Ж., 40 лет, Саратов, стаж городской жизни 20 лет.
- V. Ж., 23 года, пос. Буково, Карачаево-Черкессия, стаж городской жизни 5 лет.
- VI. М., 19 лет, Иркутск, стаж городской жизни 2 года.
- VII. Ж., 25 лет, Арзамас, стаж городской жизни 4 года.
- VIII. Ж., 39 лет, Петропавловск-Камчатский, стаж городской жизни 23 года.
- IX. Ж., 22 года, Мурманск, стаж городской жизни 4 года.
- X. Ж., 37 лет, Нижний Новгород, стаж городской жизни 21 год.
- XI. М., 30 лет, Улан-Удэ, стаж городской жизни 3 года.
- XII. Ж., 43 года, Тверь, стаж городской жизни 24 года.